

Степной король Лир

Автор:

Иван Тургенев

Степной король Лир

Иван Сергеевич Тургенев

«Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться...»

Иван Сергеевич Тургенев

Степной король Лир

Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.

– А я, господа, – воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, – знавал одного короля Лира!

– Как так? – спросили мы его.

– Да так же. Хотите, я расскажу вам?

– Сделайте одолжение.

И наш приятель немедленно приступил к повествованию.

I

«Все мое детство, – начал он, – и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы...й губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению: ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского! На громадном туловище сидела, несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова; целая копна спутанных, желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного, лица торчал здоровенный, шишковатый нос, надменно топорщились крошечные голубые глазки и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и зычный... Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой, – и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно... Одним взглядом его, бывало, и не окинешь! Но неприятно оно не было – некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки – те же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухаршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи – с завертками и выгибами; щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович – и зиму и лето – казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги; галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух? Дышал он

протяжно и тяжело, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что, попавши в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке: народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. „Коли десница у меня благословенная, – говаривал он, – так на то была воля божия!“ Он был горд; только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.

– Наш род от вшеда (он так выговаривал слово швед); от вшеда Харлуса ведется, – уверял он, – в княжение Ивана Васильевича Темного (вон оно когда!) приехал в Россию; и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом – а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причине мы все, Харловы, урודהемся белокурые, очами светлые и чистые лицом! потому снеговики?!

– Да, Мартын Петрович, – попытался я было возразить ему, – Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.

– Ври еще! – спокойно ответил мне Харлов, – коли я говорю, стало оно так!

Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.

– Эх, Наталья Николаевна! – промолвил он почти с досадой, – нашли за что хвалить! Нам, господам, нельзя иначе; чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я – Харлов, фамилию свою вон откуда веду... (тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок) и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?

В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшеде Харлусе, который выехал в Россию...

- При царе Горохе? - перебил сановник.

- Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном.

- А я так полагаю, - продолжал сановник, - что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии...

Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу; но он понял, что сановник трунит над ним.

- Может быть, - брякнул он, - наш род точно очень древний; в то время как мой пращур в Москву прибыл, рассказывают, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет.

Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня, - перебил Харлов, - не наускайвай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым; но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» - спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом.

II

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала: он, лет двадцать пять тому назад, спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса - хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме; ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом, и

пожила она с ним недолго; однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа – и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, земли за ним водилось десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались, – об этом и толковать нечего! По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком: земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадь, чахлой, тридцатилетней кобылой, со шрамом от раны на плече: эту рану она получила в бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцей, вприпрыжку; ела она чернобыльник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадь не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол; иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже, с вожжами в одной руке (другую он хватски, с вывертом локтя, опирался на колено), с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов; попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы и однажды, поравнявшись со мною (я вышел прогуляться с ружьем), так заатукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.

III

Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. «Барыня! госпожа! Нашего поля ягодка», – так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один

на целую ватагу мужиков; и хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа (она рано овдовела) таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. Притом же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил – и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог; и с очками-то на носу он едва-едва, в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему – что писать, что блох ловить – все едино. Да, матушка его уважала... однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух: землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной. «Как есть леший!» – уверяла моя старая няня. К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол – и он этим не обижался – он знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом – да и ему было привольнее есть; а ел он так, как, я полагаю, не едал никто со времен Полифэма. Для него всегда в самом начале обеда припасали, в видах предосторожности, горшок каши фунтов в шесть: «А то ведь ты меня объешь!» – говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» – отвечал, ухмыляясь, Мартын Петрович.

Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете; но долго не могла выдерживать его голос.

– Что это, мой батюшка! – восклицала она, – ты бы от этого хоть полечился, что ли! Совсем оглушил меня. Этакая труба!

– Наталья Николаевна! Благодетельница! – отвечал обыкновенно Мартын Петрович. – Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может – извольте посудить? Я вот лучше помолчу маленечко.

Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал.

Рассказывать он не умел и не любил. «От долгих речей одышка бывает», – замечал он с укоризной. Только когда его наводили на двенадцатый год (он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке), когда его спрашивали про французов, он

сообщал кой-какие анекдоты, хотя постоянно уверял притом, что никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародеришки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам колачивал.

IV

А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать; запирался один к себе в комнату и гудел – именно гудел, как целый пчелиный рой; либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома новиковского «Покоящегося Трудолюбца», или петь. И Максимка, который, по странной игре случая, умел читать по складам, принимался, с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений, выкрикивать фразы, вроде следующей: «Но че?-ловек страстный выводит из сего пустого места, кото-рое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, ска-зывает он, не сильна сделать меня счас-тливый!» и т. д.[1 - «Покоящийся Трудолюбец», периодическое издание и т. д., Москва, 1785 г. Часть 3-я. Стран. 23, строка 11 сверху.] – или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что: «И... и... э... и... э... и... Ааа... ска!.. О... у... у... би... и... и... и... ла!» А Мартын Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет, яко былие; преидет – и не будет! Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: «Такова жизнь человеческая!» Очень понравилась ему эта картинка; он повесил ее у себя в кабинете; но в обыкновенное, не меланхолическое, время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущала. Харлов, этот колосс, боялся смерти! К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было; его в церкви не часто видали; правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать – и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь всё – трын-трава! Русский был человек.

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического; он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме, в качестве не то шута, не то нахлебника – брат его покойной жены – некто Бычков, с молодых ногтей прозванный Сувениром и так уже оставшийся Сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его Сувениром Тимофеичем. Настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал. Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик, одним словом. С одной стороны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, егозил: в девичью заберется или в контору, на слободку к попам, а не то к старосте в избу; отовсюду его гонят, а он только пожимается, да шурит свои косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность поневоле его «сократила». Пить позволялось ему только в праздники. Одевали его прилично, по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял ее партию в пикет или бостон. Сувенир то и дело твердил: «Я вот, позвольте, я чичас, чичас». – «Да что чичас?» – с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинет руки назад, струсит и лепечет: «Как прикажете-с!» Под дверями послушать, посплетничать, а главное «шпынять», дразнить – другой у него заботы не было – и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он звал братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. «Вы сестрицу Маргариту Тимофеевну за что уморили?» – приставал он к нему, вертясь перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в биллиардной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал и которую сосед наш, враг жары и солнца, – оттого очень жаловал. Сидел он между стеной и биллиардом. Сувенир шмыгал мимо его «чрева», дразнил его, кривлялся... Мартын Петрович хотел оттолкнуть его – и двинул обеими руками вперед. К счастью Сувенира, он успел увернуться – ладони его братца пришлись в упор о край биллиарда – и со всех шести винтов слетел тяжелый деревенский биллиард... В какую лепешку превратился бы Сувенир, если б попал под эти мощные руки!

Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. Однажды я вызвался проводить его верхом до Еськова (так называлось его имение). «Вишь ты! Хочешь посмотреть мою державу, – промолвил Мартын Петрович. – Изволь! И сад покажу, и дом, и гумно – и все. У меня всякого добра много!» Мы отправились. От нашего села до Еськова считалось всего версты три. «Вот она, моя держава! – загремел вдруг Мартын Петрович, силясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево. – Все мое!» Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма; внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избенок. У пруда, на плоту, старая баба в клетчатой поневе колотила вальком скрученное белье.

– Аксинья! – гаркнул Мартын Петрович, да так, что грачи стаей взвились из соседнего овсяного поля... – Мужу портки моешь?

Баба разом обернулась и поклонилась в пояс.

– Портки, батюшка, – слышался ее слабый голос.

– То-то! Вот посмотри, – продолжал Мартын Петрович, пробираясь рысцей вдоль полусгнившего плетня, – это моя конопля; а та вон – крестьянская; разницу видишь? А вот это мой сад; яблони я понасажал, и ракиты – тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот так-то – учись.

Мы завернули на двор, огороженный тыном; прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигелек с соломенной крышей и крылечком на столбиках; в стороне стоял другой, поновей и с крохотным мезонином – но тоже на курьих ножках. «Вот ты опять учись, – промолвил Харлов, – вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили; а теперь я вона какие палаты себе соорудил». Палаты эти походили на карточный домик. Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. «Овчары! – заметил Мартын Петрович. – Настоящие крымские! Цыц, оглашенные! Вот возьму да всех перевешаю». На крыльце нового флигелька показался молодой человек в длинном нанковом балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрожкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя – и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сидение; потом он

помог мне сойти с лошади.

- Анна! - воскликнул Харлов, - Натальи Николаевнин сынок к нам пожаловал; попоштовать его надо. Да где Евлампияшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампией - меньшую.)

- Дома нет; в поле за васильками пошла, - отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери.

- Творог есть? - спросил Харлов.

- Есть.

- И сливки есть?

- Есть.

- Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйста сюда, сюда, - прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не «тыкал»: надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору. - Вот где я пребываю, - промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери, - а вот и мой кабинет. Милости просим!

Кабинет этот оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стенам, на неровно вбитых гвоздях, висели две нагайки, трехугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами; в одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком; впрочем, в комнате было прохладно; только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича.

- Что ж, хорош кабинет? - спросил меня Харлов.

- Очень хорош.

– Ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит, – продолжал Харлов, снова впадая в «тыкание». – Чудесный хомут! У жида выменял. Ты погляди-ка!

– Хомут хороший.

– Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!

Я понюхал хомут. От него несло прелой ворванью – и больше ничего.

– Ну, присядьте – вон там на стульчике, будьте гости, – промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться: гора – да и полно! Он вдруг встрепенулся.

– Анна! – закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море, – что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

– Все готово, батюшка, пожалуйста, – раздался голос его дочери.

Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович, ласково пробурчав: «Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью», – опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной, неподвижно, с опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цепочку трензеля.

VII

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее тысячу рублей

ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза; нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок «шпилькой». Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну, какая же ты умница – и злюка!» И со всем тем в ней было что-то привлекательное; даже темные родинки, рассыпанные «гречишкой» по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой – сверху вниз (я сидел, она стояла) – посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный барчонок!» – словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись – это тоже было несколько странно; но все-таки мне казалось, что полюби меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами, – я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня, – но что за дело! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение... Впрочем, мне тогда только минуло пятнадцать лет, а в эти годы!..

Мартын Петрович опять восторженно вскрикнул.

– Анна! – крикнул он, – ты бы на фортепьянах побренчала... Молодые господа это любят.

Я оглянулся: в комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян.

– Слушаю, батюшка, – ответила Анна Мартыновна. – Только что же я им буду играть? Им это не будет интересно.

– Так чему ж тебя обучали в пинсионе?

– Я все перезабыла... да и струны полопались.

Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный... вроде того, какой бывает у хищных птиц.

– Ну, – проговорил Мартын Петрович и задумался. – Ну, – начал он опять, – так не хотите ли гumno посмотреть, полюбопытствоваться? Вас Володька проводит. – Эй,

Володька! – крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моею лошадыю, – проводи вот их на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо! Так-то! Счастливо оставаться!

Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злее прежнего.

Я взял у харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно, – но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, притом же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорогу.

VIII

Я хорошо знал харловского зятя: звали его Слёткиным, Владимиром Васильевичем; он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в «вотчинную контору», потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденком, и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип; только цвет кожи он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил; из-за тряпки готов канючить целый день, сто раз напомнит о данном обещании, и обижается, и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем; и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягдташ, приговаривая: «Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь мне послужишь!»

– Добрый конек у вас, – заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло, – вот бы мне такую лошадку! Да где! Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили... напомнили.

– А она вам обещала?

– Кабы обещала! Нет; но я полагал, что по великому ее благодуществу...

– Вы бы к Мартыну Петровичу обратились.

– К Мартыну Петровичу! – повторил протяжно Слёткин. – Для него – что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка – всё едино. Как есть в черном теле нас содержит, и никакой от него награды не видать за все труды.

– Неужели?

– Да, ей-богу же. Как скажет: «Мое слово свято!» – ну, вот точно топором отрубит. Проси, не проси – все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого аванжа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна.

– Ах, господи боже мой, батюшка! – перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками. – Посмотрите: что это? Целый полуосьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков?! Вот тут и живи! Разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Еськову, Беськову, Ерину, Белину (так назывались четыре окрестные деревни). Ах, ах, что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два – убытку!

В голосе Слёткина слышались чуть не рыдания. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.

Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг, на повороте дороги, попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венчик из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложения дородного; все в ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые, с поволокой, темно-синие, как стеклярус; все в ней было даже монументально (недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан, малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных

глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница, казачья кровь», – так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее... Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голосом, потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидел ее, стоявшую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал и указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, и ярко голубел васильковый веночек на ее голове.

IX

Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков, Гаврило Федулыч, человек уже немолодой и – как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя – «битый да ломаный». Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя «исполнителем». «Что другое-с, а зубьё считать у мужичья – это я до тонкости понимаю, – говаривал он, чуть не скрипя собственными зубами, – потому – привык, – пояснял он, – в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Квицинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли; в самые сильные морозы оно было покрыто обильным поктом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляжкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели!.. и я устремлюсь!» Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией.

– Только сладишь ли ты с ней, отец мой? – спросила она его однажды.

Житков самодовольно улыбнулся.

- Помилуйте, Наталья Николаевна! Целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же-с? Плевое дело.

- То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена, - заметила матушка с неудовольствием.

- Помилуйте-с! Наталья Николаевна! - снова воскликнул Житков. - Это мы всё очень понять можем. Одно слово: барышня, особа нежная!

- Ну! - решила наконец матушка, - Евлампия себя в обиду не даст.

Х

Однажды - дело было в июне месяце и день склонялся к вечеру - человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось!» - воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение, оно так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание. Мартын Петрович уставил на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил наконец, что приехал по одному делу... которое... такого рода, что по причине...

Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел.

Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться.

На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного, как он сам опять появился перед

нею. На этот раз он казался спокойнее.

– Сказывай, батюшка, сказывай, – воскликнула матушка, как только увидела его, – что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала: господи! – подумала я, – уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?

– Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем, – отвечал Мартын Петрович, – не таковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться.

– О чем?

– Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно...

– Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня! К чему тут сие? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла?

Харлов нахмурился.

– Нет, не меланхолия – она у меня к новолунию бывает; а позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?

Матушка всполохнулась.

– О чем?

– О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сем свете пощадить?

– Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великан уродился – и тебе конец будет.

– Будет! ох, будет! – подхватил Харлов и потупился. – Случилось со мною сонное мечтание... – протянул он наконец.

– Что ты говоришь? – перебила его матушка.

– Сонное мечтание, – повторил он. – Я ведь сновидец!

– Ты?

– Я! А вы не знали? – Харлов вздохнул. – Ну, вот... Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад с лишком, под самые заговоры к Петрову посту; прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул! И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок.

Харлов умолк.

– Ну? – промолвила матушка.

– И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок! Я проснулся – ан рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич; однако поразмялся и снова вошел в действие: только мурашки долго по суставцам бегали и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают.

– Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал.

– Нет, сударыня; не то вы изволите говорить! Это мне предостережение... К смерти моей, значит.

– Ну вот еще! – начала было матушка.

– Предостережение! Готовься, мол, человек! И потому, я, сударыня, вот что имею доложить вам, нимало не медля. Не желая, – закричал вдруг Харлов, – чтоб та самая смерть меня, раба божия, врасплох застала, положил я так-то в уме своем: разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне господь бог на душу пошлет. – Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил: – Нимало не медля.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Покоящийся Трудолюбец», периодическое издание и т. д., Москва, 1785 г. Часть 3-я. Стран. 23, строка 11 сверху.

Купить: <https://telnovel.com/ivan-turgenev/stepnoy-korol-lir>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)